
Тёмное
романтическое
фэнтези
Невеста
для Змея

Дмитрий Минаков
Невеста для Змея

https://litres.ru/74875359
SelfPub; 2026

Аннотация

На Руси XVI века чудовища не прячутся под кроватями — им платят дань, заключают с ними договоры и отдают в жёны дочерей, чтобы уберечь города от огня.

Когда боярскому роду Белозёровых грозит опала, девятнадцатилетняя Дарья отправляется в логово Змея Горыныча. Для окружающих она — жертва, принесённая ради спасения города. Но у самой Дарьи другие планы..

Горын, князь Змеевский, оказывается не совсем тем, кем его привыкли считать. Днём он человек, ночью — огромный змей. Уже три столетия он живёт под гнётом древнего проклятия, а его цинизм и дурной характер явно не располагают к семейной жизни. Особенно с невестой, которая вместо страха задаёт слишком много вопросов.

Однако за стенами змеиного логова скрывается куда больше, чем кажется на первый взгляд. И чем дольше Дарья остаётся рядом с Змеем, тем сложнее ей понять, кто из них на самом деле нуждается в спасении.

Ведь иногда самое опасное в чудовище — вовсе не его клыки.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	25
Глава 5	31
Глава 6	36
Глава 7	42
Глава 8	47
Глава 9	53
Глава 10	58
Глава 11	64
Глава 12	69
Глава 13	74
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Дмитрий Минаков
Невеста для Змея

Глава 1

Кто чужое платье примерит, тот и судьбу перешьёт. — примета

Жребий тянули на паперти Успенской церкви, при всём городе, и самым громким звуком за всё утро был стук берёсты о глиняное дно горшка.

Орлов Вал стоял молча. Тысячи две человек, а слышно было, как у кого-то на задах урчит в животе. Июльская жара давила на плечи, но шапок никто не снимал: в такой день голову лучше держать покрытой, мало ли что. Посадские бабы жались к стене, купцы к торговым рядам, мужики то и дело косились на Мшанку, как будто Змей мог приплыть по реке, а не прилететь.

Прилетал он, впрочем, раз в тридцать три года, да и то не сам. Оставлял над городом красный росчерк, и все понимали, что пора доставать горшок. Росчерк видели в Купальскую ночь. С тех пор прошло двадцать дней, и все двадцать дней в Орловом Валу не пекли блинов, не сватались и не затевали ничего, что нельзя бросить на полпути.

Правило знали даже дети. Каждый боярский род кладёт в

горшок берестяную грамотку с именем девицы, которой минуло шестнадцать и которая ещё не просватана. Священник вынимает одну. Ту, чьё имя вынуто, наряжают в красное и ведут на Горелую гору. Взамен Змей не трогает ни посада, ни хлебов, ни стад. Так повелось с тех пор, как первый Белозёров поставил на здешнем холме частокол.

Дарья стояла среди белозёровской родни, в третьем ряду, и смотрела не на горшок, а на отца Паисия.

Рука у него ходила ходуном, но не так, как у человека, которому страшно. Страх Дарья знала: так дрожали руки у приказных дьяков перед проверкой. Паисий не шарил в горшке. Шарят, когда не знают, что ищут. Он отодвигал верхние грамотки двумя пальцами, аккуратно, как отодвигают чужие вещи в сундуке, когда нужная лежит на дне.

Рядом с ней дышала Устинья, двоюродная сестра, шестнадцати лет и трёх месяцев, румяная, с толстой русой косой и привычкой грызть кончик этой косы, когда волнуется. Сейчас она грызла так, что коса намокла до самого плетения.

— Даш, — шепнула она. — Мне страшно, хотя вынут не меня. Правда же, не меня? Нас двенадцать.

— Двенадцать, — согласилась Дарья.

Ратмир стоял бы сейчас рядом и сопел на всю площадь. Но Ратмира два месяца как забрали в московскую рать, и, пожалуй, к лучшему.

Строганов стоял впереди, у самых ступеней, в бобровом воротнике. Жара ему не мешала. Игнатий Строганов вооб-

ще считал, что шуба стоит дороже жары и потому жару победит. Он был невысок, сухощав, с аккуратной бородкой цвета мокрого песка, и улыбался так, будто его только что угостили чем-то приятным и он вот-вот вспомнит чем.

Паисий вытащил грамотку. Развернул. Откашлялся.

— Устинья, — прочёл он, — дочь Фёдора Белозёрова.

Никто не вскрикнул. Было слышно, как Фёдор, отец Устиньи, выдохнул: не вздох, а будто воздух вышел из кузнечного меха. Рядом с Дарьей что-то тихо стукнуло. Это Устинья выронила косу изо рта.

— Даш, — сказала она очень ясным голосом. — Это про меня?

Дарья не ответила. Она смотрела на бересту в руке Паисия, которую тот, как положено, поднял над головой, показывая народу. Буквы были крупные, чёрные, и первая из них, «У», загибалась внизу крючочком, как рыболовный крюк.

Три года Дарья вела отцовские счёты. Она знала почерк каждого писца в Орловом Валу лучше, чем лица их жён. Фёдор Белозёров писал «У» палкой, с двумя чёрточками наверху, как учили в старой школе. А вот с таким хвостом «У» выводил один человек в городе: Тимошка, писец Строганова. Эти крючки Дарья видела в сотне долговых расписок.

Эту грамотку Фёдор не писал. Её писали в другом доме, и поп знал, куда в горшке смотреть.

Дарья перевела взгляд на Строганова.

Он глядел на Устинью без радости, спокойно, как смотрит

человек, которому принесли долг. Просто проверял, что монеты те.

Тогда Дарья взяла сестру за плечо, отодвинула себе за спину, как отодвигают с дороги ребёнка, и шагнула вперёд.

— Я пойду.

Площадь повернулась к ней медленно, как тяжёлое колесо.

— Дарья, — сказал отец откуда-то сзади. Афанасий Белозёров был человек большой, и все его самые страшные слова выходили у него тихими.

— Закон не знает такого, — торопливо сказал Паисий. — Жребий вынут на дом Фёдора, и...

— Закон знает, отче. Закон не знает домов. — Дарья повысила голос, чтобы слышали в задних рядах. — В доконча́льной записи сказано: «из рода, чьё имя вынуто, девицу, своею волей». Из рода. Не из дома. Я Белозёрова, она Белозёрова. Принесите список из ризницы, прочтёте сами.

Список принесли. Пока служка бегал, Дарья стояла посреди паперти в полной тишине и думала о том, что ноги у неё, оказывается, умеют дрожать независимо от головы. Паисий водил пальцем по строчкам и шевелил губами. Дойдя до слов «своею волей», он остановился и посмотрел на Дарью так, как смотрят на корову, заговорившую человеческим голосом.

— Верно, — сказал он наконец. — Так и сказано.

Устинья заплакала. Не громко, а облегчённо, и от этого

было хуже всего.

Дарья снова нашла глазами Строганова. Он больше не улыбался. Лицо у него на мгновение вытянулось, как у человека, которому вернули долг не той монетой. Потом бородка дрогнула, улыбка встала на место, и он поклонился ей красиво, до пояса.

— Святое дело, боярышня. Город не забудет.

«Не забудет, — подумала Дарья. — Я напомню».

* * *

Отец пришёл за полночь. Дарья сидела в горнице при одной свече и всё ещё считала. Вторая полоса бумаги называлась «Что взять с собой» и вышла совсем короткой: гребень, чернильница, перья. Слово «нож» она написала, зачеркнула и написала снова.

Афанасий сел напротив. Он долго молчал, и в этом молчании было слышно, как в сенях Фекла разворачивает что-то шуршащее.

— Скажи, что ты сделала это со страху, — попросил он.

— Мне не было страшно, батюшка.

— Тогда скажи что-нибудь умное.

— Строганов подделал грамоту на наши мельницы, — сказала Дарья. — Хорошо подделал, я смотрела. Чтобы это доказать, нужна докончальная грамота Орлова Вала, полный список, с печатями. Когда её писали, один список положили в казну, другой отдали Змею. В казне нашего списка нет, ты сам искал три года. Значит, он там, куда никто не ходил.

Отец смотрел на неё так, как смотрят на дверь, которую всю жизнь считали глухой стеной.

— Ты читала мои бумаги.

— Пока ты их не прятал.

— Я их прятал на дно сундука.

— Я знаю. Я там потом убирала.

Он закрыл лицо ладонью, большой, с чернильной тенью, въевшейся в линии. Плечи у него дёрнулись. Дарья не сразу поняла, что он смеётся, и ещё не сразу поняла, что не только смеётся.

— Оттуда не возвращаются, Даша.

— Оттуда никто и не пытался. Про то, что внутри, не знает ни поп, ни Строганов, ни ты. А я хочу знать.

Он убрал руку. Глаза у него были красные, голос прежний.

— Мать бы тебя прибила.

— Мать пошла бы со мной, — сказала Дарья, и оба замолчали, потому что это была правда.

Ушёл он под утро, не добавив ни слова. Только положил на стол свой нож, старый, с костяной рукоятью, рядом с её списком, поверх зачёркнутого слова.

А потом в дверях появилась Фекла с красным свёртком и разложила его на лавке. Платье для Змеевой невесты пролежало в сундуке тридцать три года, и моль за это время проявила к нему такую преданность, что от шёлка остались одни воспоминания. Золотое шитьё осыпалось. Только на подоле уцелел узор: птица с женским лицом, очень недовольная.

— Ну, — сказала Фекла. — Это ж надо.

— Зашьём, — сказала Дарья.

— Тут шить нечего, тут новое надо, а парчу из Новгорода возят...

— Фекла.

— Что?

— Дай иголку.

Глава 2

Невеста назад не оглядывается: что за спиной осталось, то уже не её.— свадебное присловье

Из города выехали на рассвете, и до самых ворот по обеим сторонам улицы стояли люди. Никто не окликнул, никто не пожелал счастья. Бабы крестились, мужики держали шапки в руках, как на похоронах, и это было хуже всего: на похоронах хотя бы плачут вслух.

Один мальчишка лет шести пробрался к самой телеге. Он глядел на Дарью во все глаза, без страха, с одним любопытством, и спросил на всю улицу:

— А ты вернёшься?

Мать вцепилась в него и утащила, зажав ему рот ладонью.

Телег было три. В первой ехал отец Паисий и смотрел в свои колени. Во второй везли приданое, которое полагалось по списку из договора: пять аршин льна, десять мер ржи, кадку мёда, медную утварь «на усмотрение жениха» и сундук с одеждой. Дарья выяснила, что список составляли люди, ни разу не видевшие Змея. «Усмотрение жениха» тревожило её особенно. Усмотреть можно было что угодно.

В третьей телеге ехала сама невеста. Красное платье Фекла сшила за ночь из материнского летника, а птицу с женским лицом Дарья велела вырезать из старого подола и нашить на новый. Птица и на новом месте осталась недоволь-

на, но хотя бы в хорошей компании.

Письмо Ратмиру она оставила отцу. Писала до рассвета, а в конце приписала: «Не вздумай никуда ехать». Брата она знала. Письмо было составлено в расчёте на то, что он прочтёт его ровно наоборот.

Дорога шла полем, потом лесом, потом снова полем. Телега скрипела так, будто жаловалась на всю округу. Солнце поднималось, воздух над рожью дрожал. Дарья сидела прямо, руки на коленях, и пересчитывала всё, что видела, потому что считать было проще, чем думать: ворон на жердях одиннадцать, колодцев два, людей, посмотревших ей в лицо, пока что один, и тот ребёнок.

На последней версте, там, где кончались поля и начиналась выгоревшая трава, у обочины сидела старуха. Не в толпе, не со всеми: одна, на камне, в сером платке. Ей было, наверное, за пятьдесят, но выглядела она старше из-за согнутой спины и рук, лежавших на коленях так, будто они чужие.

Она не крестилась. Она смотрела на Дарью так прямо, что та первой отвела глаза.

Когда телега поравнялась с камнем, старуха встала, подошла и положила ладонь Дарье на колено. Губы у неё двигались. Она пыталась что-то сказать, и по лицу было видно, что пыталась изо всех сил, до жилы на шее, но не вышло ни звука. Тогда она тронула пальцами своё горло, покачала головой и уставилась на Дарью так, будто это всё объясняло.

— А ну, отойди от невесты! — Паисий уже бежал от сво-

ей телеги, придерживая рясу. — Нельзя! Юродивая она, не слушай!

Старуха отступила. Но перед тем как отвернуться, посмотрела ещё раз, и Дарье показалось, что это не прощание. Она проверяла, запомнила ли Дарья.

— Кто это?

— Юродивая, — повторил Паисий и ответил слишком быстро.

Дарья запомнила и это. Заняться больше было нечем.

У подножия Горелой горы телеги встали. Дальше, по обычаю, невеста шла одна. Приданое оставляли у камня, и к утру его никогда не оказывалось на месте. Паисий благословил её торопливо, будто боялся, что слова передумают, и сунул ей в руки каравай с солью. Каравай ещё не остыл. Хоть что-то тёплое, подумала Дарья.

Обувь велели оставить. Последняя верста шла босиком, чтобы Змей видел: невеста пришла без оружия и без хитрости. Дарья разулась, поставила сафьяновые сапожки рядом с кадкой мёда, поправила за поясом нож, о котором никто не спросил, и пошла.

Гора была не такая, как в сказках. Ни костей, ни обугленных деревьев, ни дыма. Склон, чёрный и гладкий, как застывшая смола, уходил вверх, и трава на нём не росла, но земля под босыми ногами была тёплая, ровно как лавка у остывающей печи. Дарья шла и чувствовала это тепло подошвами, и почему-то именно оно пугало сильнее костей.

Кости были бы понятны.

Солнце садилось за спиной, и тень впереди вытянулась до самых ворот.

Ворота были вделаны прямо в скалу: две створки, окованные чёрным железом, в два человеческих роста. Над ними старой вязью шла надпись. Эту вязь Дарья читала, и это было одно из тех умений, за которые отец когда-то получал выговоры от родни. Она прочла вслух, медленно, шевеля губами:

— «Прежде чем стучать, вытри ноги».

Она перечитала. Надпись не менялась.

У порога лежал коврик. Домотканый, пёстрый, из лоскутов, с аккуратно подшитыми краями. Такой кладут в избе у двери, когда хозяйка не хочет, чтобы в горницу натащили грязи.

Дарья постояла, глядя то на коврик, то на ворота, за которыми должно было находиться чудовище, пожирающее по девице за поколение. Потом, поскольку ноги у неё действительно были в пыли, вытерла их. Тщательно.

Едва она отступила, как створки поползли внутрь. Без скрипа, без грохота, сами. Из-за них потянуло тёплым, домашним: печью, дымом, свежим хлебом и ещё чем-то незнакомым, вроде нагретого камня. Далеко в глубине горели лампы, много ламп, по обе стороны длинной залы с низким потолком.

Дарья сделала шаг. Потом второй.

— Дверь за собой закрывай! — раздался из темноты то-

ненький сердитый голос. — Дует!

Глава 3

Молодые на первую ночь свечей не гасят: кто первым зевнёт, тот в доме и хозяин. — поговорка

Говорила домовиха.

Дарья поняла это не сразу. Сначала она ничего не увидела: на уровне глаз было пусто, и только когда голос раздался снова, она опустила взгляд. У стены, возле ларя с поленьями, стояло существо ростом с пятилетнего ребёнка, в клетчатой понёве и в платке, повязанном так туго, что брови уехали куда-то на лоб. Лицо у неё было как печёное яблоко, глаза чёрные, блестящие, злые. Она держала половник наперевес, как копьё.

— Закрывай, говорю! Тепло уходит! Мы тут не для того дрова жжём, чтобы на весь Орлов Вал отапливать!

Дарья закрыла. Створки подались легко, мягко, будто их только что смазали, и встали на место с тихим вздохом.

— Ноги вытерла? — спросила домовиха, подозрительно разглядывая её босые подошвы.

— Вытерла.

— Молодец. Предыдущие не вытирали.

Дарья не шелохнулась, но слово запомнила. Предыдущие. Те, о ком в городе говорили шёпотом и на кого не ставили свечей.

— Они были здесь? — спросила она осторожно. — Те,

что до меня?

— Не твоего ума дело, — отрезала домовиха. — Матрёна я. Хозяйство веду. Пошли, пирог стынет.

Палаты, по которым её вели, были рассчитаны человек на триста гостей, и ни один за последний век не пришёл. Дарья смотрела по сторонам и прикидывала. Потолки расписаны охотниками, птицами и всадниками, всё это сильно выцвело, а кое-где потемнело от копоти. Лавки вдоль стен затянуты цветным сукном, но в нескольких местах сукно протёрто до дыр, потому что на нём кто-то сидел, и сидел много. В углу стояла огромная печь в изразцах, от неё шёл ровный, добрый жар. Дом когда-то знал весёлые времена, потом одиноко коротал годы и теперь жил по привычке, держась на заплатах и упрямстве.

Стол был накрыт на двоих. Скатерть белая, чистая. Блюдо с пирогом, ещё горячим, пахнущим капустой и яйцом, кувшин с квасом, две ложки, две чашки, миска с солёными груздями. Всё поставлено аккуратно, как ставят для тех, кого ждут.

— Ешь, — приказала Матрёна.

— Это для вас?

— Это для тебя. Он ночью не ест.

— Я не...

— Ешь, говорю. Или думаешь, отравленным пирогом тебя кормить будут? Захотели бы убить, давно бы убили. У нас тут по-человечески.

Возразить против этой логики было нечего. Дарья села, отломила кусок и, прожевав, обнаружила, что это лучший пирог в её жизни. Почему-то это разозлило её больше всего.

— Теперь слушай, — сказала Матрёна, когда она доела. — Обряд надо до луны. Тебе сказали, что будет?

— Сказали, что я стану его женой.

— Сказали, дурни, и всё. Ничего больше не знают, а полезли судьбой распоряжаться. Слушай.

Обряд оказался коротким и странным. В середине залы лежала каменная плита, в которую был вделан медью знак: солнце с лучами-языками пламени. Матрёна поставила на неё миску с водой, положила хлеб, соль и красную ленту. Лента была старая, выцветшая, с оборванным концом.

— Он спросит, ты ответишь, — сказала домовиха. — Врать нельзя. Не потому что накажут. Лента не примет. Ясно?

— Яснее некуда.

— И не робей. Он только с виду страшный.

— Какой он с виду?

Матрёна не успела ответить: в дальнем конце залы открылась дверь.

Он вошёл без шума, босиком, и Дарья не сразу поняла, что это он. Она ждала чудовища, потом, поразмыслив, ждала красавца, как в песнях. Вошёл просто высокий, худой человек лет двадцати пяти, в рубахе, расстёгнутой у горла так небрежно, что можно было подумать: то ли подрался, то ли

только что проснулся. Тёмные волосы стянуты тесьмой, одна прядь выбилась и упала на лоб. Ничего особенного, пока он не посмотрел на неё. Глаза у него были жёлтые, с вертикальными зрачками, как щели в закрытых ставнях. И в этих щелях стояла такая усталость, какой Дарья не видела ни у кого, а она много лет жила рядом с отцом.

Он остановился шагах в пяти и оглядел её сверху донизу, без вежливости, как оглядывают вещь, пришедшую не по заказу.

— Живая, — констатировал он. — Уже хорошо. Обычно к этому моменту невеста сидит на полу и считает до ста, чтобы не упасть в обморок. Всем экономия времени.

— Я считаю, — сказала Дарья. — Но не до ста.

— А до скольки?

— Пока не пойму, что тут происходит. Сейчас на тридцати семи.

Что-то дрогнуло у него в углу рта. Не улыбка, а её тень.

— Просить будешь? — спросил он. — Не убивать, не губить, пожалеть молодость? Положено. Мне не мешает, я привык.

— Просить я буду потом, — сказала Дарья. — Если будет о чём. А пока хочу, чтобы ты знал: я пришла не умирать.

— Все так говорят.

— Нет. Все говорят «не убивай». Я говорю, что пришла по делу.

Он помолчал.

— По делу, — повторил он, как слово на чужом языке. — Тридцать три года никто не приходил ко мне по делу.

Матрёна кашлянула, тоненько, с намёком.

— Горын. Луна.

Он вздохнул, подошёл к плите, взял ленту и протянул один конец Дарье. Она взяла другой. Лента оказалась неожиданно тёплой, как чужая рука.

— Я спрашиваю, ты отвечаешь, — сказал он ровно, тем тоном, каким читают опись имущества. — Из какого ты рода?

— Из рода Белозёровых.

— Дана ли ты по жребию?

— Нет. Жребий выпал моей сестре. Я пошла вместо неё.

Пауза. Матрёна подвинулась поближе.

— Своей ли волей ты входишь в мой дом?

Вот тут Дарья задумалась, потому что вопрос оказался честнее, чем она ждала. Она могла соврать, и никто бы не поймал. Могла сказать: ради сестры, ради города. Но Матрёна предупредила, что лента не примет. И Дарья ответила так, чтобы это было правдой целиком, а не наполовину.

— Своей. Мне здесь нужно кое-что найти, и пришла я за этим сама.

Лента вспыхнула.

Не огнём, а светом: от одного конца к другому пробежала золотая жилка, как по сухой траве бежит искра, и в зале разом ярко полыхнули все лампы, до самых дальних углов, до

расписанного потолка. Огонь в печи наклонился в её сторону, как подсолнух. Матрёна выронила половник. Он ударился о камень, звон ушёл куда-то под своды и затих.

Горын стоял неподвижно. Рука его на ленте напряглась.

— Повтори, — сказал он тихо.

— Своей волей, — сказала Дарья. — А что?

Он не ответил. Он смотрел не на неё, а на ленту, на золотую жилку, которая светилась теперь ровно и ярко, и на лице у него была не радость и не страх, а что-то среднее, вроде ошеломления. Так выглядит человек, который сорок раз подряд бросал кости и проигрывал, а теперь выпала шестёрка.

— Три десятка лет ни одна лампа не дрогнула, — прошептала Матрёна, подбирая половник. — Ни разу. Ни у одной...

— Матрёна, — сказал Горын.

Она осеклась.

— Обряд свершён, — сказал он после паузы, и голос у него стал чуть хриплее. — По старому закону ты моя жена, а я твой муж, пока договор не расторгнут.

— А чем он расторгается?

— Смертью, обычно.

— Чьей?

— Обычно моей, — сказал он без шутки. — Но об этом потом.

Он отпустил ленту. Она упала на плиту и погасла, снова став выцветшей тряпицей.

— Занимай любую комнату, — продолжал он уже деловым тоном, отвернувшись. — Хоть все. Дверь запирай, не запирай, мне безразлично. Только на двор после заката не выходи.

— Почему?

— Потому что я там бываю.

— То есть?

— Матрёна объяснит. Или нет. Она сама решает.

Он вышел в ту же дверь, в какую вошёл. Лампы медленно, одна за другой, вернулись к обычному свету.

Дарья осталась посреди зала с привкусом капусты во рту и ощущением, что только что выиграла что-то, не поняв правил.

* * *

Комната, которую отвела ей Матрёна, была размером с амбар. Кровать под балдахином, на которой уместилась бы вся белозёровская родня, сундук, окно с резными ставнями. Дарья расстелила на полу платье, чтобы не мялось, достала нож, подержала в руке и сунула под подушку. Потом передумала и положила рядом с кроватью, так, чтобы не пришлось шарить. Потом села на край и стала пересчитывать то, что знала.

Список вышел странный. Домовиха, которая ругается, но кормит. Пирог. Коврик у ворот. Лента, загоревшаяся впервые за тридцать лет, и человек с жёлтыми глазами, смотревший так, будто его обокрали, но вернули больше, чем унес-

ли. Старуха на обочине без голоса. «Предыдущие». С чудовищем из сказок всё это не вязалось совсем. Друг с другом, возможно, вязалось, но картинка пока не складывалась.

Около полуночи что-то изменилось. Дарья не сразу поняла что: сперва в комнате стало теплее, потом тише. За окном, где всю ночь стрекотали кузнечики, пропадали звуки, один за другим, как гаснут свечи. Земля слегка дрогнула. Несильно: звякнула кружка на подоконнике и снова затихла.

Она встала, подошла к окну и отодвинула ставню.

Ночь была ясная, звёздная. Внизу, в долине, далеко, светился огоньками Орлов Вал, маленький, как просыпанная соль. А над горой висели звёзды, и вдруг одна полоса звёзд погасла. Не померкла, а исчезла, будто кто-то провёл по небу чем-то тёмным и очень длинным. За ней другая. Полоса шла медленно, закрывая за собой небо, и по краю, на изгибе, тлел красноватый отсвет, как тлеет уголь, когда на него дунуть.

Воздух ударил Дарье в лицо. Горячий, с запахом дыма, нагретого железа и чего-то неожиданно пряного, вроде жжёного сахара. Платок съехал с головы. Земля под окном загудела, глубоко, низко, и этот гул отдавался в зубах.

Она не отшатнулась. Ей и в голову не пришло, что можно отшатнуться. Она стояла, вцепившись в подоконник, и смотрела, потому что ничего подобного никогда не видела, и пока смотрела, не было страшно. Было только очень, очень интересно.

— Говорила же: не к окну, — сказали за спиной.

Матрёна стояла в дверях с лучиной в руке. Она протопала через всю комнату, не глядя на Дарью, и потянула ставню на себя.

— Это он? — спросила Дарья. Голос получился на удивление ровный.

— Завтра спросишь.

— Куда он полетел?

— Завтра, говорю. До рассвета вернётся. Обычно.

— Обычно? — повторила Дарья.

— Спи, — сказала Матрёна и захлопнула ставни.

Глава 4

Книга, которую век не открывали, сама выбирает, кому открыться.— присказка книжников

Дарья проснулась оттого, что в комнате кто-то ругался шёпотом.

Ставни были распахнуты, в окно бил свет, а на подоконнике, на табуретке, стояла Матрёна и тёрла стекло тряпкой с такой яростью, будто оно задолжало ей денег.

— ...и не просили, и не звали, а убирай. Один на дворе ночует, вторая в окна высматривает. Кто потом золу выгребать будет? Матрёна.

— Доброе утро, — сказала Дарья.

Матрёна подпрыгнула, и табуретка опасно качнулась.

— Спит она тут! Солнце уж над горой! Хозяин на рассвете вернулся, лежит бревном, а ты следом за ним. Вставай, завтрак на столе. И сразу говорю: пока не покажу, что можно, ничего не трогай.

Показывать пришлось долго. Дарья шла за домовихой по коридорам, которые не хотели кончаться, и составляла в уме опись. Пятьдесят три двери. Семь заперты. Про каждую из семи Матрёна сказала что-то своё: «там холодно», «там пыльно», «там дед сидит, не мешай», «туда нельзя» и ещё трижды просто «нет».

— Какой дед?

— Обыкновенный. По ночам чихает. Безвредный. Только не заводи с ним разговор о погоде.

— Почему?

— Расстраивается.

Дарья решила, что про деда подумает позже, когда голова освоится с остальным.

Последняя дверь, в конце восточной галереи, была приоткрыта. Матрёна толкнула её плечом.

— Архив, — сказала она. — Если надумаешь. Только ничего не рви и не нюхай, там на любой бумаге чихают.

И ушла, оставив Дарью на пороге.

Зала уходила вверх в три яруса, с лесенками на колёсиках, с галереями, с узкими окнами под самым потолком, из которых падали косые столбы света, плотные, как доски. Стеллажи, сундуки, футляры, свитки в связках, книги в телячьей коже, книги в железе, одна книга, прикованная цепью к пюпитру, как собака. Пахло сухой бумагой, воском и временем.

Дарья простояла на пороге минуты две, и всё это время лицо у неё было такое, какое бывает у голодного человека, которого привели на кухню и ещё не разрешили ничего брать.

Пыль лежала ровным слоем, как первый снег. И только в одном месте снег был примят: от двери вдоль стеллажей вилась тропка следов, узкая, протоптанная одними и теми же ногами. Вела она к дальнему пюпитру, на котором лежала раскрытая тетрадь.

Дарья не удержалась. Подошла, заглянула. Тетрадь была исписана размашистым торопливым почерком: даты, названия, пометки. «Книга Велеса, третья часть: не то». «Договоры о соли, 6910 год: не то». «Свод родословный: не то». Страница за страницей, век за веком, и под каждой строкой одно и то же. Не то, не то, не то. Чернила на последней записи ещё пахли железом.

Она тихо закрыла тетрадь, как закрывают чужую дверь, и отошла. Что бы ни искал хозяин горы, искал он не первый год.

Своё она нашла за два часа. Дело было не в везении: она, в отличие от большинства людей, видевших хранилища, знала, как они устроены. Любой архив строится по одному из трёх правил: по времени, по месту или по хозяину. Здесь был порядок по времени, от дальнего угла к ближнему, и логика его читалась сразу. Орлов Вал основали, по преданию, на такой-то год от Сотворения мира. Она отсчитала от угла и остановилась перед сундуком, на крышке которого старой вязью было выведено: «Грамоты градские по договору».

Замка не было. Крышка поднялась легко.

Грамота лежала сверху, свёрнутая в трубку и перевязанная выцветшей лентой: пять листов пергамента, склеенных в один длинный свиток. Дарья развернула его на ближайшем столе, придавила края подсвечниками и стала читать, шевеля губами.

Читала она долго. Слог был старый, тяжёлый, с «аще» и

«яко», но знакомые места попадались. «Змей не возьмёт ни скота, ни хлеба, ни живота людского». «Из рода, чьё имя вынуто, девицу своею волей». Её собственное «своею волей» стояло там, как вбитый гвоздь, и она почему-то провела по строчке пальцем.

А вот листа с описью земель в свитке не было.

Первый лист. Второй. Третий. Четвёртый. Дальше шёл просто край, ровный, как по линейке, с узкой полоской клея, на которой остался обрывок пергамента не толще ногтя. Пятый лист, тот самый, где стояли границы владений и поимённый список родов с их вотчинами, из свитка вырезали. Аккуратно, тонким острым лезвием, одним движением.

Дарья села на стул. Сидела она так долго, что свет в окнах успел переползти на соседние полки.

Потом встала, подошла к сундуку и провела пальцем по дну, в углу. Пыль, толстая, как овчина. А в том месте, где лежал именно этот свиток, в пыли чётко темнел овальный отпечаток, какой остаётся, когда вещь недавно подняли и положили обратно. Она вернулась к столу и поднесла к глазам линию среза. По краю пергамент был не желтоватым, как положено за столько лет, а светлым. Свежим. Резали не век назад и не десять лет назад.

— Ты в моём архиве, — сказали за спиной.

Горын стоял в дверях, одной рукой опираясь о косяк. Волосы мокрые, видно, мылся; рубаха свежая, застёгнутая по крайней мере на две пуговицы из четырёх. За ухом у него

осталась полоска сажи, которую он не заметил. В другой руке он держал полкаравая и откусывал с таким видом, будто вежливость придётся отложить до сытости.

— Матрёна сказала: можно.

— Матрёна много чего говорит. — Он прошёл вдоль стеллажей, жуя, глянул на стол, на свиток. — А. Градская. Её у меня никто не спрашивал тридцать три года. Что тебе в ней?

— Мне нужна одна страница, — сказала Дарья. — Её тут нет.

Он остановился.

— То есть как нет?

Она показала срез. Он посмотрел, не касаясь, потом присел на корточки перед сундуком, как до него она, и провёл пальцем по пыли. Лицо у него менялось постепенно: сонная ирония сошла, как шелуха, и под ней оказалось что-то собранное и очень холодное.

— Чисто, — сказал он. — Здесь чисто.

— Резали недавно, — сказала Дарья. — Не век назад. В этом году, судя по срезу.

— Сюда не заходит никто, кроме меня, Матрёны и невест. Невест я одних не оставлял. — Он поднял глаза. — Ты уверена, что это не ты?

— Я здесь с утра и ножа не доставала.

— Нож у тебя всё-таки есть.

— У меня есть нож, — согласилась Дарья. — Я не вырезаю им грамоты.

Он смотрел на неё секунду, другую. А потом коротко, хрипло засмеялся, как ржавый засов, давно не двигавшийся. Звук был такой, словно он сам удивился, что ещё так умеет.

— Значит, — сказал он, поднимаясь, — кто-то входит в мою гору, как в свой амбар, а мы с тобой единственные, кто это заметил.

— Матрёна не заметила.

— Матрёна, — сказал Горын, глядя на дверной проём, за косяком которого что-то поспешно отодвинулось и зашуршало, — всё заметила, просто не хочет расстраиваться раньше времени. Правда, Матрёна?

— Я ничего не слышала! — донёсся из коридора тонкий голос. — Я вообще ушла!

Глава 5

Кто видел змея на заре, тот ничего не видел. Кто видел на закате, тот помнит.— старая приговорка

К вечеру Дарья знала про гору три вещи. Первая: дед в седьмой комнате существует и в самом деле чихает, хотя бы по звуку. Вторая: хозяин спит до полудня, а проснувшись, ест по-волчьи. Третья: Матрёна лжёт плохо, но упорно.

— Он каждую ночь? — спросила Дарья за ужином.

— Каждую, — буркнула Матрёна, подкладывая ей капусты, которую никто не просил. — С заката до рассвета. И чтоб на двор ни ногой, слышишь?

— Слышу.

— Слышит она. Вот и я слышу, а потом ходят по двору в одной сорочке...

Дарья доела капусту и сказала:

— Я не буду выходить на двор после заката.

— Вот и умница.

— Я выйду до.

Матрёна открыла рот и закрыла. Она смотрела на Дарью долгим взглядом человека, который тридцать лет повторял одно правило и впервые услышал, что в нём есть дыра.

— Из окошка тебе не видно, что ли? — спросила она наконец, уже без запала.

— Из окошка я вчера видела. Края. Мне нужно целиком.

Домовиха тяжело вздохнула, вытерла руки о понёву, вытащила откуда-то из недр шерстяной платок и сунула Дарье.

— Если сомлеешь, чтоб не простыла.

Внутренний двор был вырублен в самой горе: каменная чаша шагов в сто поперёк, открытая небу, с гладкими стенами, по которым ползли длинные тени. Пол вымощен тёмными плитами, и на плитах, во весь двор, лежал тот же знак, что и в зале: солнце с языками пламени. Посередине камень был вытерт до блеска. Ходили по нему много и всегда в одном и том же месте.

Дарья села на нижнюю ступеньку у двери и закуталась в платок. Небо над чашей наливалось медью. Потом остывало: сначала до розового, потом до серого. Появилась первая звезда. Вторая. Она считала.

Он вышел, когда на небе было уже одиннадцать звёзд. Открыл дверь с другой стороны двора, увидел её и остановился на пороге.

— Я же сказал.

— Ты сказал: после заката на двор не выходить. Я вышла до заката. Условие соблюдено.

— Закат кончился минут десять назад.

— Я сижу здесь полчаса. Условие в силе. Формально.

Он потёр переносицу. Усталость на его лице никуда не делась: вчерашняя, годовая, вековая.

— Ты упряма, — сказал он без упрёка, как говорят о погоде.

— Мне нужно знать, чего бояться. Пока не увижу, не пойму.

— Те, кто видел, понимали быстро.

— Я не быстрая.

Он помолчал.

— Тогда стой там, где стоишь, — сказал он наконец. — Не подходи, пока я не позволю. Когда я в этом виде, не всегда успеваю остановиться вовремя.

Он вышел на середину чаши, на вытертый до блеска камень. Встал лицом к небу. Расстегнул ворот движением небрежным и привычным, как делает человек, которому давно надоел собственный ритуал. Откинул голову.

Первое, что заметила Дарья: он зажмурился. Не от страха. Так зажмуриваются перед тем, что уже пережили сто раз и знают, насколько будет больно.

Плиты под его ногами начали светиться. Сперва тускло, красновато, как угли, на которые дунули. Потом ярче. Гул, который она слышала вчера из окна, поднялся из-под земли, глубокий, как голос колокола в погребе. Контуры Горына поплыли, как плывёт воздух над костром. Раздался звук, который Дарья запомнила надолго: так трещат сырые поленья в очень горячей печи. Сухо, резко, одно за другим. Она не хотела думать, что именно трещит.

Он упал на руки, и руки уже не были руками. Спина выгнулась, вытянулась, раздалась. Там, где только что была рубаха, проступили чёрные блестящие чешуйки, одна за дру-

гой, как проступает иней на стекле, и под ними, в щелях, горело красное, живое. Что-то огромное развернулось у него за плечами и взметнулось вверх, закрыв четверть неба: крылья, перепончатые, натянутые на рёбра, как паруса на мачты. Каменная чаша наполнилась жаром с запахом кузни и жжёного сахара.

Когда всё стихло, посреди двора лежал змей.

Он был длиннее амбара. Голова размером с телегу покоилась на плитах, и пар поднимался из ноздрей двумя ровными струйками. Чешуя чёрная, как смола, с красным подпалом в сочленениях, как угли под золой. Глаза остались прежними: жёлтые, с узкими вертикальными зрачками. Они смотрели на Дарью.

Она не встала. Не отодвинулась. Руки лежали на коленях, и она вдруг поймала себя на том, что считает вдохи: один, два, три. Досчитала до одиннадцати и перестала.

Он ждал. Змей из сказок должен рычать или хотя бы щёлкнуть зубами. Этот лежал и ждал, и в ожидании было что-то такое, чего она не предвидела: он ждал так, как ждёт человек, привыкший, что на него сейчас закричат.

Дарья поднялась. Медленно. Подошла шагов на пять, остановилась там, где жар начинал чувствоваться на лице.

— Тебе больно? — спросила она.

Зрачки дрогнули. Расширились, сузились. Огромные веки на мгновение сомкнулись и снова поднялись.

Что именно произошло, Дарья не поняла, но заметила,

как голова медленно, очень медленно опускается ниже, пока подбородок не коснулся плит. Пар из ноздрей потёк вбок и тёплым ветром задел её щёки. Голоса у него не было, только горячее тяжёлое дыхание. Но это было похоже на ответ. Да.

— Ясно, — сказала она тихо. — Иди. Я никуда не денусь.

Он смотрел на неё ещё секунду. Потом поднялся, стряхивая с чешуи искры, и рванулся вверх. Ветер ударил в чашу двора, сорвал с Дарьи платок, швырнул волосы в лицо. Когда она вытерла глаза, небо над горой уже было пустым, и только по самому краю звёзд скользил длинный тёмный росчерк.

— Спокойной ночи, — сказала Дарья в пустоту.

Позади скрипнула дверь. Матрёна стояла на пороге с лучиной в одной руке и с платком в другой, тем самым, который Дарья обронила.

— Живая, — констатировала домовиха, и голос у неё был странный, не ворчливый.

— Живая.

Матрёна подошла, молча подала платок. Потом, глядя на пустое небо, сказала негромко, словно самой себе:

— Он никогда не оглядывается, когда взлетает. Тридцать три года, а до того ещё столько же, и ещё столько. Ни разу.

— И что?

— А то, что сегодня оглянулся.

Глава 6

Договор, писанный без свидетелей, держится на честном слове и на хорошей памяти.— из купеческих книг

Утром он сидел за столом первым.

Это само по себе было событием. Матрёна, ставя на скатерть кашу, обошла его по большой дуге, как обходят зверя, оказавшегося там, где зверей не бывает. Горын был одет, причёсан и небрит. Перед ним стояла миска, к которой он не притронулся, и смотрел он на дверь с видом человека, который решил что-то неприятное и ждёт, когда придёт тот, перед кем придётся это сказать.

— Доброе утро, — сказала Дарья и села напротив.

— Почему ты не отшатнулась?

— Я считала.

— Что считала?

— Сначала вдохи. Потом сколько раз ты дёрнулся, пока превращался. — Она взяла ложку. — Шесть раз. Я решила, что тот, кому всё равно, так не дёргается. А ты, судя по всему, проделываешь это каждую ночь.

Он ничего не сказал. Очень медленно взял ложку и всё-таки принялся за кашу, словно руки сами нашли себе занятие, пока голова подбирала ответ.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Давай без игр. Чего ты хочешь?

— Страницу из грамоты. Опись земель, на которой держатся наши мельницы. Без неё отец проиграет Строганову суд на Покров и потеряет вотчину. А я не хочу терять всё из-за одной вырезанной бумажки.

— До Покрова три месяца.

— Три. Если не считать дороги.

— А я хочу, — сказал он, — открыть сундуки.

Он рассказал, не торопясь. В нижнем ярусе архива стояли двенадцать сундуков, окованных медью, и на крышке каждого был вдавлен тот же знак, солнце с языками пламени. Замков на них не было. Ни ключей, ни отмычек, ни огня они не боялись. Открывались они одним способом: приложить к крышке руку, обвязанную той самой лентой, и чтобы рука эта принадлежала жене хозяина горы, вошедшей в дом своею волей.

— Ты шутишь, — сказала Дарья.

— Я триста лет не шучу. Обычно. — Он слегка усмехнулся. — Все невесты, что были до тебя, входили в этот дом по принуждению. Лента гасла у них в руках, и сундуки не открывались ни перед одной. Вчера она загорелась. Я стоял и думал: вот оно.

— Что в сундуках?

— То, что я ищу. Договор, по которому моему роду пришлось стать тем, чем он стал. Если есть способ... — Он оборвал себя и посмотрел в миску. — Всего я не расскажу. Не потому что не доверяю. Потому что сам всего не знаю.

— Это честнее, чем я ожидала, — сказала Дарья. — Хорошо. Нужна бумага.

— Бумага?

— Договор. Письменный. Я привыкла, чтобы условия были написаны.

Он посмотрел на неё так, как смотрят на ёжика, потребовавшего расписку. Потом позвал Матрёну и велел принести перо и бумагу. Матрёна принесла с видом человека, который присутствует при глупости, но не имеет к ней отношения.

Дарья писала быстро. Горын читал через плечо и не удержался:

— Ты пронумеровала пункты.

— Чем меньше стороны доверяют друг другу, тем нужнее номера.

Получилось пять пунктов.

1. Дарья Афанасьева дочь Белозёрова помогает князю Горыну Змеевскому открыть сундуки в нижнем ярусе архива и читает то, что в них найдётся.

2. Князь Горын Змеевский помогает найти недостающий лист градской грамоты и того, кто его вырезал, а также не допускает вреда ни Дарье, ни родным её, ни имуществу рода Белозёровых.

3. Ни одна сторона не лжёт другой. Всей правды обещать не обязуется (по настоянию князя), но и не лжёт (по настоянию Дарьи).

4. Восточная дверь на втором ярусе остаётся закрытой,

пока стороны не договорятся об ином.

5. Срок договора: до Покрова.

— Четвёртый пункт, — сказал Горын. — Откуда?

— Матрёна сказала: «туда нельзя». Я занесла заранее.

— Ты и про дверь знаешь.

— Про все семь. Про деда тоже.

Он помолчал, потом взял перо и подписался широко, с росчерком: «Горын, князь Змеевский, лета 7050-го».

Дарья посмотрела на подпись.

— Сейчас семь тысяч пятьдесят пятое.

— Правда? — Он слегка нахмурился. — Я сбился лет на пять. Бывает.

— На пять лет?

— Я давно не считаю.

Она аккуратно исправила цифру и подписала рядом: «Дарья Афанасьева дочь Белозёрова».

Он откинулся на спинку стула и смотрел на неё долго, молча, как смотрят на вещь, которую не ожидали найти там, где она оказалась.

— Хорошо, — сказала Дарья и сложила лист пополам. — Теперь расскажите мне про предыдущих.

Матрёна у печи перестала греметь заслонкой.

Горын не сразу ответил.

— Они живы, — сказал он. — Все. На седьмой день я открывал ворота и говорил: идите. Они уходили на своих ногах. Я думал, они возвращаются к семьям.

— Город считает, что вы их съели.

— Город считает, что хочет. Я за пределы горы днём не выхожу, а ночью мне не до того. Откуда мне знать, что там говорят.

— Я знаю, — тихо сказала Матрёна от печи. — Домовые в Орловом Валу меж собой болтают. У нас не меньше новостей, чем у баб на колодце.

Дарья повернулась к ней.

— Что они говорят?

— Что те, кто сидел здесь за лентой, домой пришли целые. Только молчат. Ни слова с тех пор. Спросишь про гору, а у неё рот открывается, и звука нет. — Домовиха вытерла руки о понёву. — Я тебе сказала: лента лжи не примет. Про остальное не знала. Откуда мне, я же не из тех, кто заглядывает, что с людьми потом бывает.

Дарья вспомнила старуху на обочине. Пальцы у горла, беззвучно двигающиеся губы, взгляд, которым она проверяла, запомнили ли её.

— Лукерья, — сказала Матрёна, будто услышав. — Её звали Лукерья. Последняя до тебя. Единственная, кто сама просила остаться и помогать по хозяйству. Он не оставил.

— Я не знал, что с ними будет, — сказал Горын, глядя в стол. — Клянусь тебе, не знал.

— Пункт третий, — сказала Дарья.

— Я не лгу.

— Я знаю. — Она помолчала. — А я? Я сказала «своей

волей», и лента загорелась. Что будет со мной?

— Не знаю, — сказал он. — Честно.

Дарья положила ладонь на горло. Тёплая кожа, ровный пульс. Ничего не изменилось. Она сказала вслух, тихо, для проверки:

— Раз. Два. Три.

Голос был на месте.

— Тогда у нас три месяца, — сказала она. — Найти того, кто вырезал страницу, и успеть до того, как я перестану говорить.

Глава 7

Сундук открывается тогда, когда он готов, а не когда хозяину не терпится. — присказка

Нижний ярус архива устроили иначе, чем верхний. Ни окон, ни лесенок, ни полок: круглая каменная комната под низким сводом, пол выложен знакомым знаком, а вдоль стен, как гости на пиру, стояли двенадцать сундуков. Окованные медью, почерневшие, на каждой крышке вдавлено солнце с языками пламени и выведена буква. Считали по ним по-старому: аз, веди, глаголь, добро, и так по кругу.

Горын остановился у входа и дальше не пошёл, будто эта комната была чужим домом.

— Триста лет, — сказал он. — В каждый день рождения я приходил сюда и просто стоял.

— Вам не было скучно?

— Первые полвека было. Потом привык.

Матрёна обмотала Дарье правую ладонь старой красной лентой, ворча, что в её время невесты сами управлялись с ленточками, а нынешние ничего не умеют. «Нынешних» было ровно две, и одна из них была старуха без голоса. Дарья слушала вполуха. Она смотрела на сундук с буквой «аз».

— Почему этот? — спросил Горын.

— Любой порядок начинается с первого.

Она подошла и положила ладонь на крышку, прямо на

солнце.

Медь была тёплой. Лента на запястье дрогнула и загорелась знакомым золотом: жилка света побежала по пальцам, перескочила на металл, пошла по линиям знака. Внутри сундука что-то щёлкнуло, потом глубоко вздохнуло, как вздыхает человек, долго задерживавший дыхание, и крышка поднялась сама.

Горын выдохнул вместе с ней.

Сверху лежал лист пергамента, исписанный твёрдым ровным почерком. Дарья поднесла его к лампе, прочла заголовок: «Опись». Потом всё, что было ниже. Дошла до конца, вернулась к началу и вдруг засмеялась. Тихо, коротко, как смеются, когда выигрывают.

— Что? — спросил Горын.

— Триста лет вы искали по всему архиву. А тут лежит оглавление.

Он подошёл. Впервые за всё время переступил порог и пересёк комнату медленно, как идут по тонкому льду. Она развернула лист так, чтобы он видел.

Опись была составлена просто, по-хозяйски, по строке на каждый сундук:

Первый, «аз»: книги расходные дому.

Второй, «веди»: печати и ключи.

Третий, «глаголь»: родословные.

Четвёртый, «добро»: письма.

Пятый, «есть»: заговоры и обереги.

Шестой, «зело»: расчёты с землёй и людьми.

Седьмой, «земля»: список с градской грамоты, роды и вотчины поимённо.

Восьмой, «иже»: дары и пошлины.

Девятый, десятый и одиннадцатый: то, что Дарья про себя назвала «разное».

Двенадцатый: договор, подлинник, за печатью.

Дарья остановилась на седьмой строке.

— Седьмой, — сказал Горын у неё над плечом и замолчал. Потом очень тихо: — Значит, лист не пропал.

— Он лежит вот здесь. Копия.

Он уже шёл к седьмому сундуку. Дарья догнала его и положила ладонь на медное солнце. Лента не загорелась. Знак остался холодным, как лёд в бочке. Она попробовала ещё раз. Горын положил свою руку рядом. Ничего.

На третий раз Дарья заметила то, чего не видела раньше: на внутренней стороне крышки первого сундука, который стоял открытым, была вырезана строка. Она вернулась и прочла вслух:

— «Каждый сундук отворится в свой черёд, через седмицу после предыдущего, ибо долг не любит спешки».

Горын стоял неподвижно.

— Вот почему, — сказал он наконец. — Я думал, они заперты. А они просто ждали.

Дарья считала. Губы у неё шевелились, и он, кажется, понял, что лучше не мешать.

— Двенадцать сундуков, — проговорила она. — Первый открыт сегодня. Седьмой откроется через сорок два дня. Последний через семьдесят семь. До Покрова остаётся дней двенадцать запаса. Если ничего не случится.

— Всегда что-нибудь случается.

— Тогда десять. — Она потёрла переносицу. — Вы считаете быстрее, чем я говорю, а я говорю не быстро.

— Это единственное, что я умею, — сказала Дарья. — Давайте почитаем.

Под описью лежала книга, толстая, в телячьей коже, с потёртыми углами. Дарья открыла её наугад: колонки, столбцы, итоги. Это был язык, который она понимала лучше любого другого.

— «Дано Матрёне за труд: полтина да ложка, — читала она. — Куплено ячменя сорок мер. Пива не брано, князь не пьёт. Деду просил новую шапку, выдана, велено не благодарить».

Она прыснула.

— «Деду просил новую шапку». Кто такой дед?

Горын не ответил. Он смотрел не на строки, а на то, как они написаны: на высокие, чуть наклонённые буквы, на двойное «л» в слове «полтина», где его быть не полагалось.

— Мама всегда писала «полтина» с двумя «л», — сказал он. — Отец над ней смеялся, а она отвечала, что одно «л» для бедных.

Он опустился на пол рядом с сундуком так, как опускают-

ся, когда ноги вдруг перестали справляться. Дарья не подняла глаз. Она перевернула страницу и сделала вид, что очень занята колонкой цифр. Считать было тем, что она умела делать, когда хотела дать человеку побыть одному, не уходя.

Последняя запись в книге была сделана другим почерком, торопливым, мелким, наспех, внизу страницы, будто стыдясь. Дарья прочла её про себя, потом вслух, потому что решила, что он вправе знать:

— «Каждая седмица в долг — лишний год к счёту. Считай, дитя, считай».

Горын долго молчал.

— Это мне, — сказал он. — Мне было девять. Я тогда не понимал, что считать.

— А теперь?

Он посмотрел на неё. Смотрел долго, словно впервые прикидывал, нельзя ли считать вдвоём.

— Теперь, кажется, есть кому.

— Начнём с первого столбца, — сказала Дарья и придвинула книгу ближе.

Глава 8

Следы на муке не лгут. Лгут те, кто потом ходит по ним сапогами. — старая сыскная присказка

Муку Дарья потребовала в тот же вечер.

— Муку? — переспросила Матрёна таким тоном, будто Дарья попросила ключи от казны. — Ты знаешь, сколько стоит пуд?

— Пять алтын с половиной. Ржаная.

— Так зачем...

— Посыпать пол.

Матрёна села на лавку. Ей, видимо, было нужно сесть.

— Бесовство, — сказала она.

— Сыск. Тот, кто вырезал лист, ходит в архив, когда хозяина нет. То есть ночью. — Дарья говорила быстро и ровно, как говорят о вещах, которые давно продуманы. — Если посыпать пол мукой, он оставит следы, а мы утром посмотрим. В городе так ловят воров.

— В городе воры тоже не дураки. Мука белая.

— Я не говорила, что способ умный. Я говорила, что дешёвый.

Муку Матрёна выдала с лицом человека, у которого забирают родного ребёнка. Дарья сеяла сама, через сито, перед закатом, ровным тонким слоем: от порога архива до сундука «аз», потом по галерее до поворота. Горын стоял в дверях и

смотрел на неё так, как смотрят на ребёнка, который строит дом из песка: с недоумением и без желания останавливать.

— Если он увидит муку, он не придёт.

— Если не придёт, значит, видит. Значит, у него есть глаза в доме. Тоже сведения.

— Ты любишь, когда любой исход полезен?

— Люблю, когда нечего терять.

Ночью она не спала. Лежала на кровати, на которой уместилась бы вся белозёровская родня, слушала, как гора гудит под подушкой, как гудит каждую ночь, пока Горын на крыльях, и прикидывала, когда придёт тот, кто режет грамоты. Около трёх утра ей показалось, что в восточной галерее щёлкнул замок. Тихо. Один раз.

Она села. Встала. Дошла до двери. Положила на неё ладонь, как накануне на сундук, и вспомнила пункт четвёртый.

Пункт четвёртый запрещал открывать восточную дверь.

Она вернулась в постель и злилась до рассвета, но на себя, а не на дверь: ловушка, собственноручно написанная и пронумерованная.

Утром Горын вернулся чёрный от сажи, шатаясь, и Дарья ждала его у входа в архив с кружкой молока. Он взял кружку, осушил не спросив, что это, и только потом посмотрел на неё.

— Что?

— Пойдёмте посмотрим.

Мука лежала не вся ровно. От восточной галереи вдоль

стены, мимо сундука «аз», тянулась цепочка следов: чёткие, глубокие, оставленные сапогами с подбитыми гвоздями каблуками. Мужчина, не очень высокий, шёл осторожно, на носках, и через каждые шесть шагов останавливался: две ямки от носков, рядом, у стеллажей.

— Читает, — сказала Дарья. — Стоит и читает корешки. — Она присела, оценивая шаг. — Знает, что ищет. Просто не знает, где лежит.

— Или ищет то же, что и я.

— Или другое. — Она встала и пошла по следам дальше, к нижней лестнице, к круглой комнате. На пороге остановилась.

Следы вели прямо к сундуку «аз», обходили его по кругу и возвращались. А на медной крышке, на самом солнце, чернело пятно: отпечаток ладони, закопчённый, спёкшийся, как след на сковороде. На муке рядом темнели три капли. Бурые, засохшие.

— Он пытался открыть без ленты, — сказала Дарья. — И сундук его не полюбил.

— Сундук никого не любит, кроме тебя, — заметил Горын.

— Правая рука. Ожог. — Она присела, рассматривая отпечаток. — Ладонь прижата прямо к знаку, четыре пальца, большой отставлен. Правша. К утру пузыри, а то и мясо. Он сейчас где-то с перевязанной рукой.

— Это не доказательство.

— Нет. Это приметы. Доказательства будут позже.

Она выпрямилась и посмотрела на след, по которому он пришёл. Цепочка вела обратно, мимо дальних стеллажей, в восточную галерею. К той самой двери.

— Пункт четвёртый, — сказала Дарья.

— Ты сама его вписала.

— Поэтому предлагаю дополнение.

Бумага нашлась быстро. Дарья писала на колене, пока Горын, скрестив руки, наблюдал, а Матрёна подглядывала из-за косяка и бормотала: «Бумагомарители!» Получилось одно предложение:

«К пункту четвёртому: восточная дверь может быть отворена по совместному решению сторон, объявленному вслух при свидетеле».

— Свидетель — Матрёна, — сказала Дарья. — Матрёна, вы слышали?

— Не слышала! — отозвалась из-за косяка Матрёна. — Ушла!

— Слышала, — констатировал Горын. — Подписывай.

Он подписался, она тоже. Когда они склонились над листом, плечо Дарьи коснулось его плеча, и она ощутила то, что чувствовала подошвами на склоне горы: ровное тепло, как от камня, нагретого за день. Он пах дымом. И снова за ухом у него осталась полоска сажи.

— У вас за ухом сажа, — сказала Дарья.

Он потёр, но не с той стороны.

— Не там.

Она подняла руку и стёрла большим пальцем. Это заняло одну секунду. Они оба замерли, как замирают двое, которым вдруг стало ясно, что секунда оказалась длиннее, чем рассчитывали.

Матрёна кашлянула.

— Дверь, — быстро сказал Горын. — Мы шли открывать дверь.

Восточная дверь была простая, дубовая, перехваченная семью железными полосами. Печать из красного воска, когда-то скреплявшая шнур, висела на косяке разрезанной надвое: гладкий срез, чистый.

— Отец запечатал её, когда мне было девять, — тихо сказал Горын. — Печать была целой ещё в прошлом году. Я проходил мимо и проверял. На всякий случай.

— Каждый год?

— Каждый день рождения.

Дарья посмотрела на него, но ничего не сказала. Просто взялась за кольцо. Горын накрыл её руку своей, и вместе они потянули.

Дверь пошла внутрь без скрипа. Из-за неё потянуло холодом, густым и влажным, пахло мокрым камнем, свечным салом и, совсем слабо, лошадьми и дымом: тем запахом, который стоит над городом по утрам. Орловым Валом.

Вниз вела лестница, и на второй её ступеньке белела застывшая капля воска.

Свежая.
— Идём? — спросил Горын.
— Днём, — сказала Дарья. — Пока вы человек.
— Остроумно.
— Я стараюсь.

Глава 9

Кто ходит под землёй, тот слышит, что говорят над нею. — присказка землекопов

Ход был широкий, в целую телегу, выложенный старым кирпичом, и пахло в нём не тленом, а подвалом большого хозяйства: глиной, мышами, холодом. Горын нёс фонарь. Дарья шла рядом и считала шаги.

— Далеко до города? — спросил он, не оборачиваясь.

— Пока не знаю. Спуск кончился на двухсотом шаге, дальше ровно. Если ход идёт напрямик, версты три.

— Ты всё считаешь?

— Когда страшно.

— Тебе страшно?

— Мне интересно. Это разные вещи, но считать помогает от обеих.

Он коротко хмыкнул, и эхо понесло этот звук вперёд, в темноту, как гонца.

— Отец любил этот ход, — сказал он через несколько шагов. — Ходил им на Успенскую ярмарку. Говорил, что князь, не способный купить пряник у торговки, не князь, а имущество. Брал медовые. Мне привозил с изюмом.

Дарья попыталась представить змея, покупающего пряники, и это удалось ей слишком легко.

— А потом?

— А потом пришли дни, когда он перестал выходить. — Горын поднял фонарь повыше. — Расскажу в другой раз.

Она не стала настаивать.

Следы шли впереди них: те же сапоги с подбитыми каблуками, те же осторожные шаги. Через каждые триста шагов в стене попадалась ниша, и в каждой лежал огарок свечи: человек отдыхал, пересчитывал дорогу или просто боялся. В третьей нише Дарья заметила на кирпиче бурое пятно с прилипшими волокнами льна. Кто-то перевязывал здесь ладонь, и без большого умения.

В пятой, за выступившим кирпичом, она нащупала бумагу.

Берёста была скручена в тугой свиток, смятая и наполовину обугленная: то ли её жгли в ярости, то ли ей было не до того, чтобы довести дело до конца. Дарья развернула её у фонаря. Две строки, написанные торопливой рукой. Остальное сгорело.

«У. вынута. Попу — 12 р., остальн...»

Она смотрела на первую букву. «У» с крючком внизу, как рыболовный.

— Тимошка, — сказала она тихо.

— Кто?

— Писец Строганова. — Она показала. — Вот эта «У». В Орловом Валу так пишет один человек.

— И что здесь написано?

— «Устинья вынута. Попу двенадцать рублей». — Голос

у неё был ровный. Двенадцать рублей. Цена жребия, оценённая хозяйственно, по ставке попа. — Дальше сгорело.

— Это можно показать в суде?

— Это можно показать отцу. В суде нужно, чтобы кто-то подтвердил почерк под присягой. — Она свернула берёсту и спрятала в рукав. Руки у неё не дрожали, и она отметила это про себя с отстранённым интересом. — Пока приберегу.

Ход кончился лестницей. Железные скобы вели вверх, в кирпичную трубу, а над ними темнел квадрат дерева, из щелей которого пробивались тонкие полоски света. Пахло воском и ладаном.

— Мы под церковью, — прошептала Дарья.

Сверху ударил колокол. Полдень. Они оба вздрогнули, потому что колокол над головой, который снаружи слушаешь как музыку, здесь бил прямо по темени, и с досок посыпалась тонкая сухая пыль. Горын прикрыл ладонью фонарь, и тьма встала вокруг них плотная, тёплая, как овечья шуба.

Над головой скрипнули половицы. Потом заговорили.

— ...сам слышал, Игнатий Борисович, от домовых. Лента горела. Золотом. — Это был отец Паисий, голос тонкий, срывающийся, как у человека, который не спал несколько ночей.

— Слышал и слышал. Не вопи. — Второй голос был спокойный, гладкий, с ленцой. Строганов говорил так, будто за каждым словом лежали ещё три, которые он решил приберечь. — Громкость тебя не красит.

— Если она откроет хоть один сундук...

— Не откроет.

— Но лента...

— Лента есть лента. — Пауза. Шорох ткани. — Она замолчит. До Покрова замолчит, как все до неё. А немые, отче, свидетелями не бывают.

— А если не замолчит?

— Тогда замолчит иначе. — Он сказал это так, как говорят о завтрашней погоде. — Тимошка, руку убери, на пол капает.

Шаги. Хлопнула дверь. Колокол затих, и в тишине слышно было, как на верхней ступеньке лестницы осыпается пыль.

Горын стоял неподвижно. Его пальцы лежали у Дарьи на запястье, и она не сразу поняла, что он держит её не потому, что боится за неё, а потому, что ему нужно за что-то держаться.

— Он знает про голос, — сказал он совсем тихо.

— Он знает больше, — так же тихо ответила Дарья. — Он сказал «замолчит». Не «если замолчит». Не «когда».

— Как будто видел раньше.

— Или сделал.

Она коснулась горла. Тёплая кожа, ровный пульс. Пока.

— Немые не бывают свидетелями, — сказала она. — Значит, надо, чтобы бумага заговорила раньше меня.

— То есть?

— Мне нужно больше бумаги. Всё записывать. Каждое слово, что услышу в этой горе. Пока есть чем.

Горын посмотрел на неё в полумраке. Потом разжал пальцы, медленно, будто отпускал канат.

— Матрёна выдаст, — сказал он. — Она не любит, но выдаст.

— Она выдала муку.

— Тогда справимся.

Глава 10

С домовым спорить — что с печкой: ей всё равно, а зимовать тебе.— присказка

Второй сундук открылся ровно через семь дней, в тот же час, что и первый. Дарья проверила по песочным часам, которые Матрёна достала из недр кладовой с видом человека, оскорблённого необходимостью.

Собрались все. Горын стоял у стены, сложив руки на груди. Матрёна принесла пирог «на случай, если придётся ждать», хотя ждать пришлось недолго. Дарья положила ладонь на солнце с буквой «веди», лента вспыхнула, крышка вздохнула и поднялась.

Внутри лежали печати. Двенадцать штук, на костяных рукоятках, с узорами: змей, свернувшийся кольцом, змей с расправленными крыльями, змей над городом. Под ними лежала связка ключей на кожаном шнурке, семь штук, и к каждому привязана бирка, подписанная знакомым высоким почерком с двойным «л».

— Мамины, — сказал Горын.

Дарья читала бирки вслух: «Кладовая». «Ледник». «Верхний ход». «Погреб». «Колодец». «Восточная дверь». Седьмая отличалась. Ключ был маленький, медный, потёртый до блеска, а на бирке стояло: «Деду. На случай, если сам не откроет».

— Он не сам не откроет, — сказала Матрёна. — Он вообще не открывает. Сто лет как заперся.

— На что обиделся? — спросила Дарья.

— На шапку.

— На какую?

— На обыкновенную. Просил новую, ему выдали, а в расходную книгу княгиня записала: «выдана, велено не благодарить». Из деликатности, чтоб человека не смущать. А у деда так устроено: получил — скажи «спасибо», иначе ты в долгу. Запретили ему. Сто лет сидит должником и страдает.

Дарья медленно повернулась к Горыну.

— Ты это знал?

— Я думал, он обиделся на погоду, — сказал Горын.

Седьмая дверь стояла в самом конце восточной галереи, низкая, дубовая, с вытертым порогом. Дарья постучала. Никто не ответил. Она вставила ключ, и он повернулся мягко, будто только и ждал, когда его хоть кто-нибудь попробует.

Комната оказалась маленькая и душная. Огромная печь занимала полстены, на её лежанке, подвернув ноги, сидел старик. Ростом он был с семилетнего ребёнка, весь серый, шершавый, как кора, борода из седого мха спускалась до пояса, а на голове торчала меховая шапка, лысая на макушке, с дырой на боку, через которую выглядывало ухо. При виде вошедших он набрал воздуху в грудь и оглушительно чихнул.

— Апчхи!

С печи посыпалась пыль. Матрёна у Дарьи за спиной прошептала «ох». Горын закашлялся.

— Дедушка, — сказала Дарья и поклонилась в пояс, как кланяются старшим в доме.

Старик открыл один глаз. Глаз был круглый, серый, как пуговица, и очень недовольный.

— Хозяйка? — голос у него скрипел, как дверная петля.

— Невеста.

— Одно и то же, только с задержкой. — Он шмыгнул носом. — Чего пришли? Только не про погоду.

— Мы пришли поблагодарить вас за шапку.

Наступила тишина. Матрёна, кажется, перестала дышать. Старик очень медленно сел прямо.

— За шапку, — повторил он. — За какую?

— За ту, что вам выдали сто лет назад. — Дарья говорила спокойно, будто сверяла опись. — Я прочла расходную книгу. Там записано, что вам велено не благодарить. Это была ошибка. Я пришла закрыть долг. Спасибо вам. За шапку и за всё остальное, что в этом доме держится на вас, а записать некому.

Он смотрел на неё долго. Потом снял шапку, посмотрел на дыру, и губы у него задрожали.

— Спасибо, — сказал он. — Сто лет ждал. А оно, оказывается, короткое. — Вытер глаз кулаком. — Апчхи!

Потом надел шапку на место, сел как положено хозяину, и взгляд у него стал деловой.

— Чего хотите?

— Ищем того, кто ходит в дом через восточную дверь. Вы его видели?

— Я что, слепой? — Дед фыркнул. — Хожу по дому ночами, считаю шаги, никто не просит, а я считаю. Ходит в безлунье, раз в месяц, когда луна на ущербе. Правая рука обмотана. Мнётся, оглядывается, в архиве читает быстро. Пахнет чернилами и страхом. Мышь пахнет приятнее.

— Когда он придёт в следующий раз?

— Через девять ночей. Новолуние.

Дарья быстро прикинула. К тому времени откроется третий сундук. Совпадение, подумала она, или и это входит в счёт.

— Дедушка, у нас письменный договор, — сказала она. — В нём сказано, что восточную дверь отворяют только при свидетеле. Свидетеля у нас не было. Вернее, была Матрёна, но она утверждает, что ничего не слышала.

— Не слышала! — подтвердила Матрёна.

— Вы согласились бы стать нашим свидетелем?

— Я?

— Вы старше этого дома. Ваше слово крепче любой подписи.

Дед выпрямил спину, насколько позволяла печь. В глазу у него мелькнуло что-то давно забытое: удовольствие человека, которого впервые за век спросили по делу.

— Вот это — дело, — сказал он. — А то Матрёна всё

«убери да убери».

— И шапка вам нужна новая, — добавила Дарья, вынимая из рукава обрезок красного шёлка. — У меня остался кусок. С птицей.

Дед взял, развернул, посмотрел. На куске, вырезанном из старого подола, красовалась птица с женским лицом, очень недовольная.

— Недовольная? — спросил он.

— Очень.

— Своя. — Он приложил шёлк к щеке. — Годится.

— К вечеру сошью, — сказала Матрёна и подозрительно хлюпнула носом. — Не просили, не звали, а шей.

Когда они уже выходили, Дед окликнул:

— Невеста. Подойди.

Дарья вернулась. Он наклонился к её уху, и она ощутила запах печной золы и сухих трав.

— Матушкину книгу читай, — прошептал он. — Да не её одну. На дне первого сундука, под ней, лежит вторая. Чёрная. Княгиня её прятала, а я знаю, у меня глаза в потолке. Прочти ночью. При хозяине не надо.

— Почему?

— Потому что хозяин там первая строка.

Он откинулся на печь, закрыл глаза и громко, довольно чихнул.

— Что он сказал? — спросил Горын в коридоре.

Дарья помедлила. Договор говорил: не лгать. Но не гово-

рил: рассказывать сразу.

— Сказал, что мне надо кое-что прочесть, — ответила она. — Я прочту и расскажу. До утра.

— Пункт третий, — заметил он, приподняв бровь.

— Я не лгу, — сказала Дарья. — Я откладываю.

Глава 11

Долг как тень: чем ниже солнце, тем он длиннее.— купеческая поговорка

Ночью гора гудела, как всегда, и Дарья ждала, пока гул уйдёт за вершину. Матрёна спала на кухне, свернувшись на лавке с половником в обнимку, и храпела с присвистом. Дед чихал в седьмой комнате, но уже деловито, как свидетель, обдумывающий показания.

Дарья взяла лампу и спустилась в нижний ярус.

Круглая комната в темноте казалась больше. Двенадцать сундуков стояли по стенам, как заснувшие звери. Первый она не закрывала все эти дни, и из его нутра тянуло сухим теплом. Дарья поставила лампу на пол и вынула толстую расходную книгу в телячьей коже, которую они с Горыном изучили уже до половины. Дно сундука показалось ей слишком глубоким.

Она провела ладонью по доскам и нащупала щель. Ровную, как под ногтем. Вторая крышка поднялась с лёгким щелчком, как язычок замка, и из тьмы выглянул чёрный переплёт, тонкий, как ладонь, обвязанный шнурком.

Книга была холодная. Не как предмет, а как покойник.

На обложке не было ни слова. Дарья развязала шнурок и открыла.

Первая страница: «Счёт». Ниже: «Род Змеевских с Навьей

стороной. Ссуда». А ещё ниже, отдельной строкой, ровным почерком, который не принадлежал никому из людей:

«Должник: Горын, князь Змеевский, потомок Горыни и носитель долга».

Хозяин там первая строка. Дарья перечитала и почувствовала, как у неё сводит пальцы, но продолжила.

Дальше всё было расчерчено так, как чертят приходные книги у людей, не любящих ошибок: три колонки. «Принято». «Возвращено». «Остаток».

Первая запись, красными чернилами: «Принято князем Горыней Змеевским от Навьей стороны: сила змеиная на каждую ночь, неуязвимость, крылья. Срок: пока род стоит». В колонке остатка стояло число. Дарья пересчитала нули дважды. Двести пятьдесят тысяч ночей.

Не лет. Ночей.

Годовые записи шли дальше одна под другой: на каждый год одна строка, и все до единой одинаковые: «Возвращено: голос ночной, триста шестьдесят пять ночей». Почерки менялись: четыре, пять, шесть рук, а потом чернила вовсе перестали быть чьими-то. Строки появлялись сами. Последняя была сегодняшней, и чернила на ней ещё не высохли.

Рядом, на каждой странице, шла другая колонка, мелкая, как приписка в долговой расписке: «Начислено на остаток по седмице: триста шестьдесят пять ночей».

Дарья смотрела на эти две цифры так долго, что лампа успела ополовиниться.

— За седмицу он отдаёт семь ночей голоса, — сказала она вслух, потому что вслух считать было легче. — А набегает триста шестьдесят пять.

Разница получилась страшная. Триста пятьдесят восемь, каждую неделю, триста лет.

— Взяли двести пятьдесят тысяч, — сказала она. — Должны шесть миллионов с лишним.

Она прикинула ещё раз, надеясь на ошибку. Ошибки не было. Её отец называл такие ссуды «колодцами»: чем больше черпаешь, тем глубже. Это не ссуда, подумала она. Это ловушка. Её не рассчитывали погашать.

Отдельным разделом шли невесты. Имена, имена, имена: «Агафья, Фёдорова дочь». «Марфа, Ивана дочь». «Ульяна». «Прасковья». Каждая запись короткая: «Голос принят. Зачтено: тридцать ночей». Тридцать ночей против шести миллионов. Дарья отодвинула лампу: ей нужно было вдохнуть.

«Лукерья, Любимова дочь. Голос принят. Зачтено: тридцать ночей». Тридцать три года назад. Запись была сделана аккуратно, без помарки, как пишет человек, которому всё равно.

Куда они идут? Мысль встала на краю сознания, холодная и чужая. Голоса. Куда уходят голоса, если долг не уменьшается? Кому они нужны, если на счёт они почти не влияют? Ссуде, которую нельзя погасить, не нужен погашенный остаток. Ей нужна эта плата, регулярная, ночная, из года в год. Кредитору нужны не деньги. Ему нужны голоса.

Последняя запись в книге была сделана на чистой странице, и чернила на ней ещё влажно блестели.

«К принятию. Дарья, Афанасьева дочь Белозёрова. Невеста по свободной воле. Голос — полностью. Зачёт: _____. Срок: Покров».

Дарья прочла это один раз. Потом ещё раз. Потом, потому что дыхание куда-то пропало, прочла в третий раз вслух, медленно, шевеля губами.

— Голос полностью, — сказала она. — Зачёт пустой.

Пустая строка. Даже не прочерк: просто линия, на которой ничего не написано. Она смотрела на неё так, как смотрела в отцовских книгах на пустые графы в чужих счетах. Когда в бухгалтерской книге пустая графа, это не отсутствие ответа. Это возможность. Или ловушка. Обычно и то и другое.

Под строкой, мелко, были дописаны ещё слова: «По свободной воле оценка выше. Определится при принятии».

Значит, цену назначат в момент платежа. Назначит тот, кто берёт. Дарья усмехнулась, и усмешка вышла кривая. Отец называл такие условия петлёй с запасом: долг берётся без суммы, а сумму потом пишет кредитор.

Она закрыла книгу и посидела на каменном полу, обняв колени, пока лампа горела ровно и спокойно. Потом поднялась.

Горын вернулся на рассвете. Она встретила его в галерее, не в архиве, чтобы он видел её лицо. Чёрную книгу держала

в руках. Он остановился, увидел книгу, потом её.

— Пункт третий, — сказала Дарья. — Я обещала не лгать. Садись.

Глава 12

Не отдавай того, чего не оценил. — купеческое правило

Горын слушал, не перебивая. Эту его черту Дарья заметила давно: чем больнее ему становилось, тем тише он делался. Когда она закончила, он взял чёрную книгу, пролистал, остановился на последней странице, где стояло её имя, и положил книгу на стол.

— Нет, — сказал он.

— Что нет?

— Нет, ты не будешь это платить. Договор расторгается. Я открою ворота, ты уйдёшь сегодня. Приданое... — он запнулся, — Матрёна соберёт.

— Расторжение по обоюдному согласию, — сказала Дарья. — Пункт пятый: срок до Покрова. Я не согласна.

— Это не торг.

— Именно торг. Я как раз торгуюсь.

Он встал. Прошёлся по комнате, три шага до окна, три обратно. Руки не находили места, и он заложил их за спину, как провинившийся мальчишка.

— Я видел Лукерью, — сказал он, глядя в стену. — Когда она выходила из ворот. На седьмой день я открыл створки и сказал: идите. Она шагнула наружу, обернулась и начала что-то говорить. Губы шевелились, а звука не было. Я решил, что она просто не хочет со мной разговаривать. — Он замолчал.

— Тридцать три года я думал, что она меня презирает.

— Горын.

— Я не хочу, чтобы ты стала ещё одной Лукерьей.

— А я не хочу, чтобы ты платил один, — сказала Дарья. — Ты платишь каждую ночь.

Он обернулся.

— Ты не можешь говорить в том виде. — Она подняла чёрную книгу. — Это и есть платёж. «Голос ночной, триста шестьдесят пять ночей в год». Каждый вечер ты выходишь во двор и отдаёшь им голос.

— Я думал, это проклятие. Просто так. Что змеи не разговаривают.

— Змеи не разговаривают. Ты не змей. Ты человек, которого каждую ночь обирают.

Наступила тишина, в которой было слышно, как в печи оседают угли. Горын сел. Не на стул, а прямо на пол, спиной к стене, как сидел у сундука в тот день, когда нашёл мамин почерк.

— Триста лет, — сказал он. — Триста лет я платил и не знал.

— И ничего не вышло. — Дарья села на корточки напротив, чтобы глаза были на одном уровне. — Ты отдаёшь семь ночей в неделю, а набегает триста шестьдесят пять. Платить бесполезно. Значит, платить не надо. Надо оспаривать.

— Оспаривать.

— У любого долга есть слабое место. Ошибка в начисле-

нии. Пропущенный срок. Подпись, поставленная под угрозой. Договор заключал твой предок, и я хочу знать, в каком положении он был, когда подписывал. Для этого нужен подлинник. Двенадцатый сундук.

— Он откроется через семьдесят семь дней.

— До Покрова оставалось девяносто. Остаётся дней тринадцать запаса. — Она загибала пальцы. — А пока я найду всё остальное. Первое: куда идут голоса. Второе: кто назначает зачёт. Третье: страница, которую вырезал Тимошка. Это три дела, у каждого свой хвост, и все три в одной горе.

Он смотрел на неё. Не так, как смотрел в архиве: тогда была настороженность. Теперь в его взгляде было что-то совсем другое, и это было хуже и лучше одновременно.

— Ты не боишься?

— Боюсь. Но считать помогает.

— Расскажи мне как.

— Берёшь цифру, которой боишься, — сказала Дарья. — Раскладываешь на части. Страшно становится только пока цифра целая.

— Это работает?

— Почти всегда. — Она помедлила. — Иногда нет. Тогда считаешь дальше.

Он вдруг тихо, коротко засмеялся, и она подумала, что звук этот уже не такой ржавый, как в первый раз: что-то в нём смазали.

— Я не хочу, чтобы ты платила за мой род, — сказал он.

— Я не плачу за твой род. Я возвращаю то, что украли у отца. Что ты оказался в той же книге, это случайность. Хорошая или плохая, посмотрим.

Они сидели на полу друг напротив друга, и между ними лежала чёрная книга, закрытая, с влажным ещё краем у шнурка. Дарья вдруг заметила, что его рука лежит на камне совсем рядом с её рукой, и что ни он, ни она эту руку не убирают.

В дверь влетела Матрёна, красная, с половником в руке и перекошенным платком.

— Там у ворот! — выдохнула она. — Кричит! С мечом!

Ворота были открыты, потому что Матрёна, как всегда, не закрыла, и в проёме, залитом полуденным солнцем, стоял парень лет двадцати: в измятом кафтане, заляпанном дорожной грязью до пояса, с мечом наголо. Орал он так, что с горы осыпались камешки:

— Выходи, змей! Верни сестру! Я ехал одиннадцать дней и загнал трёх коней, у меня мозоль на... — Он увидел Дарью. — Даша!

— Ратмир, — сказала она, — опусти меч.

— Ты жива! — Он бросился к ней и остановился на полпути, потому что из-за её плеча показался Горын, и меч в руке Ратмира снова поднялся. — Это он?

— Это князь Горын Змеевский.

— Змей?

— Ночью, — вежливо подтвердил Горын. — Сейчас день.

— Тем лучше! — закричал Ратмир. — Днём ты слабее!

— Это не совсем так, — сказал Горын.

Дарья закрыла глаза.

— Ты получил моё письмо?

— Получил! Там было написано: «Не вздумай ехать».

— И?

— Я подумал: значит, надо ехать!

Дарья открыла глаза, повернулась к Матрёне, которая стояла рядом с половником и самым довольным лицом на свете, и сказала:

— Матрёна. Принесите, пожалуйста, ещё бумаги.

Глава 13

Ш

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.